



Валерий Попов

Сергей Довлатов

*ФТМ*

Валерий Попов  
**Довлатов**

«ФТМ»

2010

**Попов В. Г.**

Довлатов / В. Г. Попов — «ФТМ», 2010

ISBN 978-5-4467-3236-4

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке. Сегодня его творчество завоевало любовь миллионов читателей, ценящих отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте. Первая биография Довлатова написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым. Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

ISBN 978-5-4467-3236-4

© Попов В. Г., 2010

© ФТМ, 2010

## Содержание

Введение	5
Глава первая. Семья и школа	7
Глава вторая. Недурная компания	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Довлатов

*Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная  
о ней всю правду.*  
**Сергей Довлатов**

## Введение

Над названием «Введение» в начале одной книги (помните, какой?) Довлатов уже смеялся. Он смеялся много над чем. И это было правильно. Когда он взялся за перо, многое в нашей жизни могло служить поводом для смеха. Например – очередь за мебельным гарнитуром сроком на двадцать лет. И люди мечтали записаться – более того, занимали очередь с вечера для того, чтобы в жестокой борьбе урвать шанс стать через двадцать лет владельцем вожделенного гарнитура. Для людей пожилых – а таких в очереди было немало – это была борьба уже не за выживание, а почти за бессмертие. Во всяком случае, этим они как бы гарантировали себе двадцать лет активной жизни. Ведь человеческое сознание не может себе представить, что гарнитур, которому отдано столько времени и сил, так и не удастся увидеть. Образ коммунизма, твердо обещанного, но потом как-то рассосавшегося, уже перестал нас возбуждать – может, поэтому веру хотя бы в гарнитур отнимать у людей было бесчеловечно. Вера необходима, страсти должны быть – это понимали власти и жизнь такую поддерживали, как могли.

Помню, как однажды в Крыму всех нас выгнали из гостиницы, с криками: «Землетрясение, землетрясение!» Мы зажгли фары наших машин, врубили музыку и плясали всю ночь. Утром прошел слух, что несостоявшееся землетрясение выявило огромное количество недостатков в работе местных органов, оказавшихся в ту ночь как-то не на высоте, а также вскрыло полную недееспособность армии и флота. Да и само землетрясение оказалось фальшивым – просто кто-то, напившись, упал рядом с чутким сейсмографом.

Примерно в таком же «порядке» была и официальная наша литература. Помню веселое чтение на пляже романа многократного нашего лауреата. Сюжет такой: секретарь обкома из Сибири, оказавшись с неохотой в Италии (партия послала), встречает на приеме в посольстве итальянскую герцогиню-красавицу-миллиардершу, которая, тут же, потеряв голову, бросая многочисленные дворцы и замки, устремляется за ним в далекую Сибирь, в отчаянии предлагая себя и свои капиталы. После долгой, страстной ее мольбы он хмуро соглашается взять лишь капиталы – да и то, ясное дело, не для себя, а для подъема лесного хозяйства области. «Советская литература – мать гротеска», – помнится, я написал такую статью.

Что и говорить – наша жизнь и литература уже настойчиво требовали такого писателя, как Довлатов. Всё для него было уже готово. Ну как тут не писать? Ужасно смешно, смешно до ужаса: золотое время для новой литературы. И самое поразительное – его произведения, осужденные начальниками всех рангов, оказались чуть спустя самым точным, если не единственным портретом того времени. Подобно тому, как из эпохи «великих сдвигов» двадцатых – тридцатых любимой книгой масс оказались «Двенадцать стульев», отодвинувшие в сторону все орденоносные тома. Гениально об этом сказал Марсель Пруст: «В веках от литературы остается лишь гротеск». «Золотой осел», «Дон Кихот», Швейк, Остап Бендер. И Довлатов с «нетипичными» его героями – в этом же ряду. Типичные как-то потускнели, забылись – как и обычная наша жизнь. А он – нет. Другое дело, что при такой жизни и его, лучшего писателя своего поколения, тоже «поставили в очередь» на двадцать лет.

Вот сиди теперь и думай: как же так? Жила целая страна – СССР. Сколько было бурных событий, особенно в последние годы, в которых участвовали миллионы людей... Перестройка. Еще, кажется, гласность. Ускорение было? Вроде бы да. Талоны были? Да... Но – до ускоре-

ния или в результате его? Были винные очереди. В каком году? Что-то уже и не вспомнить, как стоял в этих очередях... А зачем? Неужто так уж хотелось выпить? Да вроде бы нет. Так чего же стоял? Странное дело: ничего уже не помнишь, не ощущаешь... Что осталось-то в голове? Ответ – книги Довлатова! Лучше всего сохранившееся свидетельство нашей эпохи. Самое точное – и самое интересное. И если хотим вспомнить прожитую нами жизнь – берем его книги. Лучше ничего нет. Все остальное стремительно тает, как дым. Он – остается. Как же это он сделал так, вопреки известной догме, что побеждают всегда сильные? Ан нет! Побеждают такие, как мы! Довлатов сделал нас поколением.

Так как же было – ежели по порядку?

## Глава первая. Семья и школа

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе.

– Вот невезуха! – воскликнем мы. – Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны!

Впрочем, сам бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным: родиться всегда хорошо. Наверно, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена: все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе.

Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни – даже самой ранней, – без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг не кто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе – и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу. А кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией... Да, рано начал наш герой!

Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде.

Примерно тогда и я сюда вернулся и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял – и действовал на нас. После моей низкоэтажной Казани (и довлатовской Уфы) огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура – в основном эклектика, как мы понимаем сейчас, – с башнями, бойницами, восточными окнами будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте – а в продолжении чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой, мы шли в гости и вдруг заворуженно застывали перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице: волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать – но чувствовали, запоминали. Разрушенность, «забытость» Ленинграда после войны (старые жильцы сгинули, кто в блокаде, кто в ссылке, и никто уже не помнил, что значит этот витраж) – рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и воссоздать именно мы.

Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спаса на Крови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде словно в затерянном таинственном городе – большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого – мало ли было тогда в школах таких Сереж? Предполагал ли он?

Сам Довлатов преподнес свое детство так:

«Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа».

Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал:

«Помню, первого сентября делали переключку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а так же национальность. И вдруг встает пухленький темненький мальчик и тихо говорит: «Сережа Мечик, еврей». Конечно, по классу прошел смешок. Во-первых, слово «еврей» традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия

у Сережи была смешная и очень забавно сочеталась с его кругленькой фигуркой: «Мечик» звучит как «мячик»».

«Толстый застенчивый мальчик». И тут Довлатов сразу за душу берет! И я – вдруг с волнением вспоминаю, – был такой же! Но, наверное, это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей, хулиганской толпе будущих уроков, заполнявших тогда все дворы. «Толстый» – это значит все-таки немножко подкормленный мамой в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей забубенных родителей, махнувших на всё рукой. «Застенчивый», как я вспоминаю, значило в те времена – не впаянный в дворовую, уличную, полублатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой тех, кто по слабоволию тянулся за ней еще в дворовых играх. Рассказ о первом появлении Довлатова в школе друг заканчивает так:

«...Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злочастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил). Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще – а бедный Сережа совсем смутился».

Такое начало школьной жизни было и у меня – с отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь «застенчивых мальчиков» состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника – и тоже горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя – увы, самое то... О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается: почему все шишки на него? Потому! Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти «шишки», будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было – Карла. Такая вот несчастливо-счастливая судьба!

Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:

- Нарисуйте каждый что хотите.
- А что, что? – слышались голоса.
- Что хотите!

Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест: кто как себя покажет, так потом с ним и обращаться... Я показал себя хуже... нет – слабее всех! Когда дети подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками (наверняка уже не раз отработанными с воспитателем в детском саду) я, почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку – поместившуюся с клювом, ногами и хвостом... в одну клеточку тетради. Почти не различить! Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго... Зато я это помню и могу об этом написать – в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное, и давно уже забыл. А я помню! Вот так.

Вспоминает соседка Довлатова:

«Сережа не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания... Не то чтобы он был скованным. Он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню чтобы Нора Сергеевна проявляла какую-то особую строгость, но в детстве Сережа слушался ее беспрекословно».

Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее – тут видят тебя и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство – да и вся жизнь в этом ключе, – могло бы быть идеальным для будущего скрипача или математика, но не для писателя:

«Черные дворы. Зарождающаяся тяга к плебсу».



Без этого, видимо, будущему писателю никак... Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебсу мог придумать и сказать только несомненный аристократ, аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает, для него окружение такого рода – «свои парни в доску», самое то! А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного его выше... Но «рейды» в него делать приходится: будущему писателю нужна «вся жизнь», а не только домашняя. Но вначале тебя, вышедшего из домашней оранжереи, принимают в штыки или, хуже того, не замечают, не видят в упор – красуются совсем другие.

...«Почему я всегда один? Что же – так пройдет время, и никто не увидит меня, и уж тем более не поинтересуется – какой я?» Это, наверное, и есть первый эмоциональный толчок к писательству: быть хоть как-то замеченным, оставить свой след.

Вспоминаю, как в поисках зрителей (то бишь читателей) я однажды вышел в школьный двор и с тоской увидел спаянную своим уставом хулиганскую школьную «шоблу»: они заворачивали за угол школы расслабиться после уроков и покурить. «Иди» – «Но зачем?» – «Надо!» Через силу подошел, встреченный насмешками, развязно попросил закурить – и в результате от искры сторел рукав моего нового ватного, перешитого бабушкой из отцовского, синего пальто! И тот горящий рукав – один из первых пережитых мной сюжетов. Не сгоришь – не напишешь!

«Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым...»

Это очень важный момент – на общем фоне вдруг увидеть себя, оценить, осознать: а ведь меня преследуют не потому, что я хуже, а наоборот – потому что лучше. Теперь надо, чтобы и учителя заметили это и оценили – но сделать это надо плавно, не настораживая злобный класс. Помню тот осторожный и тщательный подъем по ступеням самознания, самоутверждения: хулиганы, привычно ринувшись к тебе «подухариться», как говорили они, вдруг встречают твой спокойный, уверенный, насмешливый взгляд – и осекаются.

«Наша школа на Фонтанке, 62, – продолжает Дмитриев, – была расположена в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, улицей Ломоносова, улицей Рубинштейна и переулком Щербакова. Это места сплошной застройки с внутренними дворами. Жилые дома примыкают друг к другу, и по крышам можно обойти весь квартал. Весной ребята из класса, и мы с Сергеем в том числе, выходили через чердачное окно на крышу соседнего со школой дома на Фонтанке. Оттуда открывался прекрасный вид, и было приятно позагорать на теплом кровельном железе. По крышам мы шли от Фонтанки до самого Сережиного дома № 23 по улице Рубинштейна. Дополнительным развлечением было бросить в водосточную трубу камень или осколок кирпича, что вызывало грохот и переполох, после чего нужно было поспешно скрыться в чердачном окне».

Послевоенное ленинградское детство... Лучший трамплин для творческого взлета трудно изобрести. После Уфы или Казани, широко раскиданных, простоватых на вид, вдруг сразу оказаться в Ленинграде – всё равно что проснуться в огромном таинственном замке. Древние стены с башнями, восточные дворцы, извилистые реки улиц среди каменных берегов... лучших декораций для первых грез не сыскать.

Бесконечные темные подвалы, чердаки, крыши, с которых открывается безумный вид, и когда вылезашь из слухового окна и распрямляешься – захватывает дух и кажется, что ты первый, кто это увидел. И это верно: с таким чувством, с таким волнением первый – ты. Помню: с ужасом и восторгом я стою на скате крыши, почти на самом краю, и гляжу на свою огромную тень на доме напротив. Неужели – приходит странная мысль, – если я осмелюсь и подниму руки – то он, этот великан, тоже поднимет? Собравшись с духом, поднимаю. Машу руками – и он в ответ машет мне! Невероятно! Этот гигант мне подчиняется! Завтра снова увижусь с ним. Для будущего писателя, начинающего мечтать и выдумывать, нет ничего лучше таких картин!

Душные чердаки под наклонными крышами, косые солнечные лучи, в которых беснуются пылинки. Дровяные сараи в дальнем сыром углу заднего двора. Оказаться в пахучей их

полутыме – все равно что в пещере с сокровищами. Нам повезло с этим в детстве. Сейчас дети все больше резвятся в виртуальном пространстве – а мы, помнится, прыгали через пропасти с крыши на крышу!

«Мечты о силе и бесстрашии. Похороны дохлой кошки за сараями. Моя речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера».

Помню и я свою тягу к возвышенному, к сочинению какой-то яркой, небывалой жизни... лишь бы взлететь, воспарить над этой тягучей школьной унылостью! Помню свои стихи в седьмом, кажется, классе: «И в любых сраженьях ни за что и никогда я не сдамся... Женья!»

Какая еще такая Женья? Откуда взялась?.. Из стиха – откуда ж еще? Из рифмы! Потом уже, для подтверждения стиха, пришлось подгонять под него реальность. Девочка с этим именем была в нашем классе всего одна, и притом крайне мне не нравилась. Но что делать – сперва мы сочиняем стихи, потом они диктуют нам жизнь. Скоро весь класс знал: он с ней «ходит» – и даже посвящает стихи! Первая сладкая слава, первое внимание публики!

Но какой ценой! Я вынужден был ее провожать, и мы долго напряженно целовались. Это стихи теперь уже командовали нами. Да, непростое это занятие, ответственное – смутно начинал понимать я. И чуть ли не выработал отношение к любви, как к суровой обязанности, неизбежной расплате за сладость творчества. К счастью, она с родителями-военными вскоре уехала на юг, и отношение это не успело во мне закрепиться. Отношения литературы и жизни не так просты... это ощущается уже в самом начале.

Что Довлатов решил принести себя в жертву искусству, было видно сразу. Одноклассники рассказывают, как он однажды принес в школу фотографии знаменитого Раджа Капура с усиками из самого популярного тогда индийского фильма «Бродяга» – популярней тогда не было ничего! – и только тщательно приглядевшись, можно было понять, что это не Радж, а загримированный Сергей. Он уже жаждал сверхпопулярности! Тихий Сережа Мечик искал для себя достойный образ. И нашел – образ Сергея Довлатова. Фотографии те – первые из известных нам мистификаций, из которых были потом созданы как жизнь Довлатова, так и его литература.

В школе он пытался делать и литературный журнал – первый опыт будущих головокружительных проектов.

«1952 год. Посылаю в «Ленинские искры» четыре стиха. Одно, конечно, про Сталина. Три – про животных. Первые рассказы в журнале «Костер», написанные на самом низком для среднего профессионала уровне».

Показательно, конечно, что он так сразу и так определенно взялся за перо и не мечтал стать летчиком или пограничником – считалось, что все мальчишки тогда только этим и грезили. Тем самым он проявил самостоятельность, обозначил путь, хотя, конечно, не обошлось без наследственности – отец его писал, был автором скетчей, а тетя Мара занималась литературой активно, будучи одной из самых знаменитых в городе редакторш – редактировала самого Алексея Толстого. Так что дух этот жил в семье... И вообще, литература кажется самым быстрым (и простым) способом установить в мире не чью-то, а именно твою справедливость. Тяга к перу, уверенность в своем праве писать появляется, особенно у прозаиков, гораздо раньше жизненного опыта и мастерства, поэтому первые «успехи» на этом поприще лучше спрятать (и Довлатов, в конце концов, мудро спрятал три четверти из написанного им...). Но без этих неудачных опытов не придешь и к удачам. Кашу надо мешать очень долго, время от времени пробуя, а потом вдруг – о радость! – вроде ничего. Но сразу во рту сладко не станет: сначала будет горько, потом кисло. И лишь на минуту... а потом снова – провал!

Почти во всех автобиографиях будущие литературные знаменитости подчеркивают свое жалкое, неудачное начало. Кроме того, что это часто бывает правдой, это и правильный литературный прием: тем ощутимее последующий взлет! Вообще замечено, что главный взлет у человека один. По краям его – ямы. Вундеркинды начинают хорошо, но, за редким исключением, плохо заканчивают – плохо, естественно, относительно времени взлета. Вот и выби-

рай время, когда взлететь. Не слишком рано... но и, конечно, не слишком поздно. Если бы Довлатов сразу писал для «Костра» хорошие рассказы – а там действительно были хорошие рассказы и хорошие авторы... так и лежал бы сейчас всеми забытый в пыльных подшивках этого «Костра»! Но он словно ждал – другого времени, другого, более заметного, места.

«Аттестат зрелости. Производственный стаж. Типография имени Володарского. Растущая тяга к плебсу (буквально ни одного интеллигентного приятеля)».

Конечно, вырасти лучше в благополучной среде... но динамичных сюжетов, неожиданных поступков, колоритных личностей там маловато, и провести всю жизнь среди мальчиков из хороших семей означает сделаться таким же... Но нельзя с этой компанией и порвать. Ведь в конечном счете оценивать литературу да и любой другой твой успех будет именно благополучная компания, и делать всё надо на ее вкус. И Довлатов такой «солидной» аудиторией обзавелся очень рано – интеллигентных приятелей у него было достаточно, начиная с Андрюши Черкасова... но и кинуться в «кипящий котел», как сделал это Иванушка-дурачок, тоже бывает необходимо. Только надо выбрать подходящий момент... да еще суметь потом вылезти и обо всем написать. Горький, который жизни хлебнул побольше других писателей, сказал, однако, что повар не должен сам вариться в своем супе. Дистанция необходима, но какая? Котел должен бурлить рядом, и горячие брызги должны лететь на лицо... иначе ты не повар, а убогий подмастерье. Как все рассчитать, обжечься, но не свариться? И тянет туда все сильнее, и если ты настоящий писатель, то сварись непременно в конце концов – тем более если это «суп из тебя», а именно такой суп и варил Довлатов. И все это надо рассчитать быстро... даже еще не понимая, зачем!

Помню, в классе я дружил и общался только с отличниками – Лакшиным, Амигудом, Шабесом, – и это было правильно (от компании зависит, как другие оценят тебя), но вне класса стремился на танцы в компании двоечника и пьянчуги Краснова. Вечером, после школы, нужнее был он. Мы ходили на знаменитые тогда «грязные танцы» в Мраморный клуб, а также в клуб «Лентрублит» и Дом культуры работников связи на улице Герцена (ныне Большой Морской). Так что к плебсу тянуло, особенно к той половине его, которая называется «прекрасной»... Прекрасными они были не всегда, но уж, конечно, по вечерам с ними было поинтересней, чем с нашими школьниками! Помню тягучие звуки джаза, прильнувшие друг к другу в полутьме пары и отчаянную решимость, не всегда оканчивающуюся успехом: «Вот эту – грудастую, с наглым взглядом приглашу!» Как же без плебса? А потом вдруг жесткая рука на плече: «Пойдем выйдем!» Без крови из носа не обойтись. Мужчина должен драться. С паймальчиками скучно. Жизнь пугает, но манит.

И все же, я думаю, не улица, не школа и тем более не общение с плебсом превратили робкого Сережу Мечика в того красивого, уверенного, эрудированного и ироничного Сергея Довлатова, которого теперь знают все. В школе довлатовская легенда не сложилась – да и не могла сложиться. Ему нужен был другой «полигон». В обычной советской школе, несмотря на фундаментальность образования, какой даже в помине нет сейчас, не было установки на развитие яркой, неповторимой и тем более фрондирующей личности. Героями становились или способные к учебе конформисты, становящиеся отличниками или комсомольскими вожаками (очень редко это удавалось совместить), или уж совсем забубенные хулиганы, чаще всего уходившие после школы в безвестность или в тюрьму.

Довлатов, к счастью, не вписался ни в одну из этих категорий. Впрочем, совсем рядом была так называемая английская школа, куда брали самых талантливых и поощряли творческое и личное своеобразие – эта школа на Фонтанке, совсем недалеко от довлатовской, по курсу – и по собственной инициативе, – действительно отбирала и выращивала лучших. Это не афишировалось, но было известно, что она готовит будущих дипломатов. В ней из моих знакомых учились Андрей Черкасов, Андрей Битов, Сергей Байбаков, Лев Ядрошников. Каждый из них добился многого, и все они дружно называют ту школу замечательной – там их действи-

тельно развивали и поощряли их индивидуальность. Там были замечательные учителя. Довлатов до той школы не дотянул. Был бы отличник, его, как других отличников, туда бы, может, и перевели – хотя в той элитной школе негласно действовал знаменитый «пятый пункт» (графа «национальность»), но несколько учеников там были и с «пятым пунктом». Из той английской школы ребята выходили уже с большим самомнением, помогавшим им потом делать карьеру... Довлатов же оказался в обычной советской школе, которая вряд ли могла – да и не должна была, – оценить его выпирающую из всех рамок личность.

Однако к окончанию школы Сергей из закомплексованного толстяка превратился-таки в весьма уверенного и эрудированного юношу с явным чувством превосходства перед убогим окружающим миром, которое он чуть прикрывал самоуничжительной иронией. Смутно вспоминая школьные уроки биологии, скажу: «Яркая бабочка вылетела из невзрачного кокона». Что, кроме генетических данных, так благоприятно подействовало на него? Точно уж не стандартная советская школа. И не двор. И не улица. С окончанием послевоенной хулиганской эпохи уличными героями стали стилиаги и фарцовщики. Довлатов с присущей ему любознательностью и это попробовал – но то была не его карьера, и он скоро к этому остыл.

И все-таки яркая личность появилась. Даже фамилию он сменил – не было уже робкого Мечика, появился Довлатов.

\* \* \*

Конечно же, главной его «питательной средой» были не школа, не двор и не улица, а родной дом, семья.

Маму его, Нору Сергеевну, я хорошо помню, хотя в дом его попал значительно позже ранних его друзей, уже в эпоху литературной суеты. Но у моего лучшего друга была мать, чуть похожая на маму Довлатова, той же среды и закваски – это был тип весьма интеллигентных, знающих и воспитанных женщин, работающих, как правило, в библиотеках, издательствах или академических институтах, но изрядно огрубевших в коммуналках и очередях, а порой даже в лагерях и ссылках и слегка даже бравирующих, особенно с возрастом, этой грубоватостью (а некоторые – и весьма хриплым от «Беломора» голосом). Помню, меня очень взбадривал их стиль общения, уверенный и слегка агрессивный, их умение сочетать академические цитаты с непринужденным матом. Рождался смелый и обаятельный образ, которому хотелось подражать.

Известен случай, когда мама Довлатова, угощая завтраком Сергея с заночевавшей у него девицей, непринужденно спросила: «А бляди твоей горошек тоже давать?» Сергей, оценив мамин стиль, расхохотался (о реакции девушки история умалчивает).

Подавая сыну пример уверенного обращения с окружающей действительностью, мама сумела направить его и в лучшее ленинградское общество. Она дружила с Ниной Николаевной, женой знаменитого актера Николая Черкасова. Он был не только великим актером, которого знали все, но и членом Верховного Совета, председателем всяческих комитетов, в том числе и международных... в общем, человеком всесильным и при этом порядочным, веселым и щедрым. Дружил, например, с гениальным, но опасным Евгением Шварцем, работавшим «на грани фола». На комаровской даче Черкасовых собиралась самая лучшая компания, которая могла быть тогда. Появлялись в Комарове у Черкасовых и Нора Сергеевна с сыном Сережей. Комаровские встречи той поры оказались потом весьма интересны и полезны для Довлатова... Молодец мама, всем бы такую! Но замечательные мамы почему-то чаще всего бывают у замечательных сыновей – и наоборот.

Близко знавшие Нору Сергеевну отмечают ее талантливость во всем – она была хорошей актрисой и могла бы играть еще долго, но из скромности ушла из театра. Она считала, что стариться на сцене имеют право лишь великие актрисы. Не зная нот, она на слух подбирала на

рояле самые сложные вещи. Была великолепным рассказчиком, и ее бывший муж Донат говорил, что ей надо выступать на эстраде, как Ираклию Андронникову. По-кавказски вспылчивая, она никогда ни на кого не повышала голоса. При этом была очень гордой. Будучи давней подругой Нины Николаевны, жены Черкасова, с которой они вместе начинали играть в театре, она никогда ни о чем – ни прямо, ни через жену, – не просила всемогущего народного артиста. Лишь однажды, когда у Довлатовых хотели отнять комнату и сделать из нее кладовку, Черкасов вмешался, но исключительно по инициативе Нины Николаевны – Нора Сергеевна была против.

Но главное, будучи талантливым корректором, она передала сыну безошибочный литературный слух. Один из друзей дома вспоминает: «Помню, я как-то зашел к Сереже домой и спросил: «Нора Сергеевна, что это у вас бардак такой? Шарфы какие-то валяются!» Она ужаснулась: «Леша! Как вы могли!» Я подумал, что и вправду сказал что-то лишнее: «Извините, пожалуйста, Нора Сергеевна. Я не хотел вас обидеть!» Она ответила: «Шарфы, Леша, шарфы! Ударение на «а»! Запомните это на всю жизнь»».

Сережа уроки мамы впитал и потом всю жизнь гордился знанием пунктуации и ударений, изводя этим знанием друзей и коллег. Корректурой занималась вначале и сестра Норы Сергеевны Маргарита-Мара, ставшая потом, как уж говорилось, замечательным, уважаемым в Ленинграде литературным редактором. У них еще были брат Роман и сестра Анна (Анеля). Несмотря на обилие родственников, у Довлатова никогда не было ощущения клановости, защищенности родней – быть может, потому, что родня эта, как на подбор, была довольно неустроенной и весьма эксцентричной. Хотя не исключено, что она сделалась такой только в повести «Наши», где автор охотно прибегает к любимому своему приему – препарировать реальность, перенося из нее в произведение только то, что соответствует его замыслу.

В Довлатове соединились две крови – армянская от матери и еврейская от отца. Хотя сам он не был похож ни на отца, ни на мать. С чего вдруг появился на свет такой красавец и гигант? Впрочем, Нора Сергеевна была очень красива в молодости, а Донат, говорят, тоже был не плох, рост его был выше среднего, и только из-за болезненной худобы он казался не очень крупным. Но Довлатов больше стремился к мифам и легендам, и один из его мифов – о небывалых, легендарных его предках. А какие еще предки могли быть у него? Сергей писал, что ростом и силой выдался в своего еврейского деда Исаака Моисеевича Мечика, который перебрался из деревни во Владивосток, стал часовщиком, потом приобрел закусочную. Дед был высок и могуч. Когда он пошел на войну (первую империалистическую) то, как пишет Довлатов, «усы его достигали погон». На каком-то смотре его увидел государь и тут же перевел в гвардию... Что-то все это напоминает – например, рассказ Сергея о том, как его еще в люльке заметил и чуть ли не благословил великий Андрей Платонов. Впрочем, послушаем дальше: «Зачислили его в артиллерийскую батарею. Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие».

Дальше идет не хуже: «Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции». Сломал во время рекламной акции железную американскую раскладушку, когда лег на нее. Очень много ел: «Батоны разрезал не поперек, а вдоль. Прежде чем идти в гости, дед обедал... Вернувшись домой из гостей, с облегчением ужинал»... Все правильно – какой еще, по-вашему, дед мог быть у такого человека, как Довлатов? Только такой!

«Как-то раз в Щербаковском переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой. Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги».

Интересно, что за самим Сергеем тоже числится такой подвиг! Кто из них, интересно, «поделился подвигом» – он или дед? С Довлатовым (если верить) произошло следующее. Однажды он, ревнуя, вышел из дома за Асей и поднял за бампер машину ее поклонника. Эта история считается достоверной – мне ее рассказывала сама Ася, не склонная преувеличивать достоинства бывшего мужа. Какое-то просто поразительное сходство подвигов деда и внука!

Сведения об армянских родственниках еще более легендарны. Особенно колоритным выглядит дед Сергей Довлатов (он же Саркис Довлатян), совладелец магазина готового платья в Тифлисе, – в его честь, как можно подумать, и назвали маленького Сережу:

«Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе считали его вспыльчивым. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал:

– АБАНАМАТ!

...И в доме наступала полнейшая тишина.

Значения этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем?»

Дальше Сергей рассказывает о том, как дед его вступил в столкновение со стихией, а именно с землетрясением...

И вот от таких предков и появился Сергей Довлатов! А какие еще, спрашивается, предки должны быть у человека, который и сам быстро сделался легендарным? Довлатов строит свой героический миф не со дня своего рождения, а с гораздо более древних времен – так и должны работать люди, целенаправленно создающие свой образ.

«У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать...» Можно сказать – путаем уже и сейчас.

«У деда Исаака было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда – в Бельгию. Старшие – Михаил и Донат – тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом. Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду неравнодушны...»

Из этого повествования вывод такой: зато Сергей вобрал и воплотил в себе мощь и красоту обоих этих дедов!

Папа Сережи, Донат Мечик, тоже был человеком весьма примечательным – и хотя в семье давно уже не жил, тоже дал сыну правильную закуску. Биография его пунктиром обозначена в рассказе об отце из сборника «Наши». Но поскольку в нем, как и во всех произведениях Довлатова, достоверность отступает перед вымыслом, стоит обратиться к фактическим данным:

«Донат Исаакович Мечик (20.VI. 1909 – 22.X. 1995) родился во Владивостоке. Закончил Ленинградский театральный институт. По окончании был принят в созданный Л.С.Вивьеном Театр актерского мастерства. В тридцатые годы занимался театральной режиссурой, ставил спектакли в филиале Молодого театра С. Радлова, в Театре транспорта, был художественным руководителем Республиканского драматического театра Мордовской АССР и Ленинградского районного драматического театра. Начиная с 1928 года совместно с Вивьеном осуществлял постановку спектаклей в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина... В период эвакуации заведовал в Новосибирске литературной частью Пушкинского театра.

После войны занимался эстрадной режиссурой (работал режиссером Концертного бюро Ленинградской филармонии, киностудии «Ленфильм»). Писал произведения для эстрады. Руководил производственно-творческой комиссией в профкоме драматургов. В Ленинграде вышла его книга «Искусство актера на эстраде» (1972) и ряд статей, посвященных театру и эстраде. С 1967 по 1980 год руководил эстрадным отделением Музыкального училища при Ленинградской консерватории, где преподавал актерское мастерство.

В 1980 году Д. Мечик эмигрировал в Соединенные Штаты, где вышли его книги «Выбитые из колеи» (1984), «Закулисные курьезы» (1986) и «Театральные записки» (1989). Его воспоминания печатались в русскоязычной эмигрантской прессе (сборник «Руссика-81», журналы «Стрелец» и «Литературный курьер», газеты «Новый американец», «Новое русское слово», «Панорама», «Мир» и др.), а также во многих российских газетах и журналах».

Уже зная весьма эксцентричного молодого писателя Довлатова, я с интересом разглядывал и его отца. От кого происходят такие занятные личности, как Сережа?

Нужно сказать, что Донат Мечик был в те годы гораздо более авторитетен в городе, чем его непутевый и еще никак не определившийся сын. С интересом проникая на всяческие театральные просмотры и модные вернисажи (культурная жизнь города тогда была ключом), я то и дело видел Доната Мечика: он всегда что-то уверенно излагал в центре самой авторитетной компании, встряхивая жесткими седыми прядями на прямой пробор – и все, кивая, с ним соглашались. Безусловный и безупречный авторитет! При этом просачивались сведения (распространяемые, я думаю, и насмешливым сыном), что Донат Исаакович всего лишь преподает эстрадное мастерство в каком-то училище и к высокому искусству причисляет себя несколько самонадеянно... Неважно! Главное – кем ощущает себя человек, а не кем он является по служебному расписанию. И он ставил себя весьма высоко, и все этому порядку подчинялись – или делали вид.

Помню встречу с ним лицом к лицу на углу улицы Рубинштейна и тогда Пролетарского, ныне Графского, переулка. Шел ли он по улице Рубинштейна, возвращаясь после душевной беседы с сыном?.. Не уверен, но очень было похоже. Он шел, невысокий, поджарый, в вызывающе роскошном желтом пальто с острыми лацканами (таких полт в России не продавали), и с двух сторон шли две статные красавицы, каждая по меньшей мере на голову выше его, с почтением ему внимающие... видимо, ученицы.

Лицо его, слегка рябоватое, с глубокими складками по краям рта, с расчесанными на прямой пробор седыми прядями, было значительным и скорбным. Взгляд его небольших глаз был весьма надменный, значительный и слегка утомленный. Многие, даже незнакомые люди на него засматривались – с таким достоинством он нес себя.

Сын его, гигант и красавец, внешне вовсе был не похож на него – но что-то очень важное (помимо литературных способностей) он от него получил. Как говорят умные старые евреи, в жизни важнее всего «выходка», умение войти так, чтобы все взгляды повернулись к тебе.

Помню, я ходил к одному парикмахеру, в самую обычную обшарпанную парикмахерскую... но каким достоинством, каким величием веяло от него! Знаменитейшие люди (помню, к примеру, Кирилла Лаврова) покорно ждали очереди к нему – хотя ничего особенного он не делал, да и что такого особенного можно сделать с растительностью на голове, да еще в строгое советское время? Но у него было главное – «выходка», умение преподнести себя как бесценный дар.

И Сергей, безусловно, перенял этот дар у папы – и где-то даже его превзошел. Его появление всегда обставлялось как событие...

Кроме этого бесценного дара, Донат Исаакович, давно будучи в разводе с семьей, тем не менее дал Сергею множество правильных советов – порой, правда, театрально-напыщенных, что позволило Довлатову потом блистательно посмеяться над папой в своих сочинениях. Похоже, отец был первой «моделью», на которой Сережа оттачивал свою наблюдательность и безжалостный юмор. «В жизни отца рыба занимает такое же место, как в жизни Толстого религия» – вот одна из «звонких монет», которыми сын расплатился со своим родителем. Довлатов, помню, с усмешкой говорил мне: «Отец довольно часто бывает за рубежом, но когда я спрашиваю его о духовных ценностях – он почему-то рассказывает мне, какое замечательное было белье в номере и как прекрасно было вино!»

Эта ирония улетучилась, когда Сергей «загремел» в армию – тогда отец стал для него самым важным человеком. Не только творчески – их переписка бесценна, – но и чисто практически: именно Донат Исаакович в конце концов вытащил Сергея из самого пекла. «Повар» может вариться в своем супе – но должен вовремя выпрыгнуть из него.

Думаю, что многие из нас, выросшие тогда, должны благодарить жизнь за отличных родителей. Мои родители тоже разошлись – но позже, чем у Довлатова, уже когда я учился в инсти-

туте. Но тем не менее до сих пор вспоминаю их дни рождения и другие праздники в доме как что-то замечательное. Красивый, обильный стол, но главное – большое количество красивых, солидных, явно успешных друзей в хороших костюмах, с орденами или планками, с прибаутками, анекдотами, песнями, а иногда и стихами собственного сочинения. Родители моих школьных друзей (я больше выбирал друзей успешных) вышли из самых разных сфер (мои были агрономы, селекционеры), но все они, как и мои родители, были людьми уверенными в себе и своем деле, сильными и независимыми, которых не так-то легко было сбить с толку или настолько запугать, чтобы они отказались от шумных застолий и острых анекдотов (многих из них «пугали» вплоть до ареста, но сути их это не изменило). Спасибо родителям – они нас не только родили, но и показали, как честно и доблестно жить «при любой погоде». И таких родителей, кстати, было много, кого ни спроси из моих друзей – все довольны. Нет, не было тогда, как многие считают, повального рабского страха – но не было и всеобщего бездумного энтузиазма. Родители наши трезво понимали, что Сталин – злодей, сгубивший множество невинных людей... Ну и что теперь – ложиться и помирать? Нет, лучше работать, и жить, и получать все возможные удовольствия... Думаю, для нас это было самое правильное воспитание. Отец мой не однажды ругался вдрызг с самыми главными академиками, секретарями обкомов по сельскому хозяйству, референтами ЦК... тогда его переводили в деревню, в самые захудалые селекционные хозяйства – и именно благодаря суровым условиям он выводил там самые лучшие, самые стойкие сорта.

– Куда они меня денут? Земля-то есть везде, значит, можно сеять! – усмехался отец.

Так же «кидали» туда-сюда и отца Сергея, но дело всегда было при нем – и везде он приспособливался, делал дело, находил друзей, полезных людей, поклонниц – и побеждал.

Стойкости, оптимизму, умению работать везде и всегда мы обязаны, конечно, нашим родителям. Сказать про них, что то было поколение запуганное, раболепное, бездеятельное может только полный дурак – ему, значит, досталось от родителей лишь слабоумие...

Так что заголовок «Семья и школа» самый подходящий для этой главы – семья на первом месте. Семья в жизни Довлатова, конечно, была важнее школы. И вспоминая его весьма неробкую семью, понимаешь, как к семнадцати годам из неловкого первоклашки образовался весьма эрудированный и самоуверенный красавец, ценивший свой неповторимый стиль речи и поведения уж, конечно, гораздо выше всех тех банальностей, что окружали его в школе, а потом и в университете. И эту незаурядную свою сущность Довлатов вскоре продемонстрировал во всей красе.



## Глава вторая. Недурная компания

Сам Довлатов, с присущей ему желчностью, свое появление в университете откомментировал так:

«Университет имени А. Жданова. (Звучит не хуже, чем университет Аль-Капоне.)»

Университетский друг Слава Веселов вспоминает эту фразу, повторенную Сергеем не раз с некоторыми модуляциями: свои фразы-алмазы Довлатов «гранил» не спеша. Удачную фразу надо не только «обкатать», но еще, так сказать, выслужить. Чтобы иметь право столь высокомерно «оценить» Ленинградский университет, сначала надо было все-таки в него поступить. Так было не раз: презрительно-блистательные фразы требовали от него предварительных тяжких усилий, которые он тщательно маскировал мнимыми небрежностью и ленью. Надо все же забраться на вершину, чтобы потом пренебрежительно с нее плюнуть! И Довлатов это понимал: снизу сколько ни плюй, все равно всё упадет на тебя.

Поэтому к поступлению в университет он отнесся с тайной серьезностью и даже азартом. В первый год он заносчиво подал документы на факультет журналистики. Все понимали слабость этой профессии, конкурс был большой – и Сергея не приняли. Проработав год в типографии, Довлатов поступал в университет уже осторожнее – на филфак, на финское отделение, на которое шло тогда очень мало народа. В каком-то смысле то было святое время, и, не считая смольнинского блата, точнее даже не блата, а списка, всех остальных оценивали и принимали в университет согласно их знаниям и способностям. Теперь даже не верится, что такое могло быть! Но взяточничество и прочие несправедливости приема расцвели пышным цветом несколько позже, а в те годы хорошие ученики смело шли в университет и чаще всего судьба их складывалась сообразно их способностям и усердию. Самые подготовленные, набравшие необходимый высокий балл, поступали на самые престижные отделения – романское, немецкое, английское... финское считалось второразрядным. Уже многочисленные к тому времени фарцовщики, которым финский нужен был позарез, в университет почему-то не шли (слишком долго – дело горит!) и предпочитали изучать финскую речь на практике.

Впрочем, Игорь Смирнов, один из первых университетских друзей Сергея, вспоминает о неких курсах финского языка, что учредил ленивый, но предприимчивый Сергей для знакомых фарцовщиков... впрочем, это уже больше похоже не на реальность, а на довлатовскую байку: мифологию свою он стал создавать практически сразу.

На третий, кажется, день все занятия отменили, и Довлатова вместе с другими первокурсниками (обычная тогда история, сегодня уже подзабытая) отправили в колхоз на уборку картошки.

По воспоминаниям его ближайшего друга этих и последующих лет Андрея Арьева, они оказались где-то под Сиверской. Задача – выкапывать и собирать на раскисшем от дождя поле сырую, полусгнившую картошку. Помню по себе, как угнетала эта постоянная бессмысленность нашей жизни: почему картошку надо убирать именно тогда, когда все уже залито дождем и картошка наполовину сгнила? Что за царство абсурда – в котором, по всему судя, нам предстоит мучиться до конца своих дней?

Но с другой стороны, где, как не здесь, когда круглые сутки вместе и все друг перед другом как на ладони, разглядеть и найти себе друзей на всю жизнь? В большинстве вузов так и происходило. Костры, песни, дружные выпивки, походы на танцы в соседнюю деревню, потом возвращение в темноте, когда цветы особенно сильно пахнут и загадочно сияют меж сосен реки и озера, – все это было. Но главное – друзья на всю жизнь определялись именно там.

Там и Довлатов нашел самых важных своих друзей. Первым их «подвигом», в котором каждый проявился и определился, был, как вспоминает Арьев, побег из этого «рая». Уже по желанию их – сделать так, как им хочется, невзирая на запрет, – видны люди непростые, само-

стоятельные, привыкшие к душевному комфорту и готовые за него бороться до конца... Ну, не совсем, наверное, до конца – рисковать студбилетом, наверное, все же не стоит, лучше достать какую-то медицинскую справку. И вот три новоиспеченных друга, три будущих литературных столпа, трое озябших до мурашек юношей явились в поселковую поликлинику. Далее история распорядилась удивительно точно: как пошло дело у каждого из них сразу – так же примерно и продолжалось всю жизнь.

Довлатов, юный талантливый боксер, смог усилиями мышц поднять у себя температуру до требуемой, и справку получил. Находчивый и целеустремленный Арьев продемонстрировал медсестре мучительный радикулит – и был «отпущен». Федя Чирсков, сын известного сценариста, с детства барственный и изнеженный, надрываться не стал, лишь высокомерно произнес: «Э-э-э... легкое недомогание!» – чем вызвал, ясное дело, лютую ненависть медицинского персонала и справку-индულгенцию не получил – пришлось ему остаться в колхозе.

А Довлатов и Арьев, опьяненные успехом их первого совместного – и сразу удачного! – деяния, рванули в город, после чего их сотрудничество и взаимная помощь лишь расцвели еще больше, достигнув в конце концов межконтинентальных масштабов.

Скоро, впрочем, явился и обиженный Федя, и началась университетская жизнь.

«Филфак. Прогулы. Студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки».

Итак, Довлатов – студент Ленинградского университета имени Аль-Капоне... простите, Жданова. Пожалуй, в те годы это был самый эффектный ход. С этим «знаком качества» можно было пускаться во все тяжкие – прогуливать, влюбляться, сдавать-пересдавать, вылетать... Все равно это чувство превосходства, высокомерие «белоподкладочника» (как называли в России студентов-аристократов) оставалось в тебе навсегда, даже если ты проучился в ЛГУ не слишком долго. Друзей, во всяком случае, Довлатов нашел здесь самых лучших, прослуживших ему до конца. Даже печальный для него финиш университетской эпопеи не разлучил их – во всяком случае, надолго.

А университет? Что – университет? Позиция тут проста: «Университет (считавшийся самым лучшим местом в городе) оказался недостойн меня! Скука невыносимая, уровень жалкий!» Самомнения по этому поводу хватало порой на много лет. Если, конечно, ты не увлечешься вдруг той специальностью, на которую поступил... такое счастье тоже бывало. И многие из друзей Довлатова университет закончили и вполне преуспели, оставаясь при этом абсолютно свободными людьми, не кривившими душой и не желавшими, да и не умеющими пресмыкаться. Некоторые – Игорь Смирнов, Костя Азадовский, Саша Лавров, – стали большими учеными, оставаясь при этом близкими его друзьями и активно участвуя в общих гулянках. Абелев и Байбаков сделали преуспевающими международными журналистами... Это все были «большие корабли для большого плавания» – и Довлатова они приняли отнюдь не случайно, сразу высоко оценив его... Но они пока не спешили, плавно выворачивали на курс. А у Довлатова была своя «ускоренная» программа, и ему никак не хотелось пять лет зубрить общие для всех учебники.

Как вспоминает преподавательница сербского языка Марианна Бершадская, скитания Довлатова по факультету были хаотичны – то он был на финском, то на русском дневном, то на русском вечернем. При этом он сразу стал пользоваться в университете влиянием; его таинственное величие чувствовали все, кто сохранил еще чувства. По воспоминаниям Бершадской, она, как и многие преподаватели, сразу же почему-то стала пытаться помочь совершенно, я бы сказал, – демонстративно, – неподготовленному Довлатову. Порой необъяснимое, но властное «поле влияния» он умел создавать уже тогда. В полной мере он продемонстрировал это в Нью-Йорке. А пока что благодаря этому он продержался в университете значительно дольше, чем заслуживал того своим прилежанием.

Что же там привлекало и удерживало его? Несомненно, в те годы университет был центром вольнодумства – это в значительно большей степени касалось студентов, нежели преподавателей, но и преподавателей тоже. И оказаться в такой среде было для Довлатова приятно и важно, именно там окреп его мятежный дух.

Университетская жизнь тогда была бурной. Именно тут закипали волнения, которые впоследствии перевернули нашу страну. Гениальный и веселый поэт Владимир Уфлянд, наш общий с Довлатовым друг, тоже, как и Сергей, ненадолго осчастлививший университет своим пребыванием, рассказывал, как они веселились. Однажды пришли на лекцию по Древнерусской литературе в расшитых рубахах с поясами, с расписными ложками и мисками, в перерыве налили в миску молока, накрошили хлеба и ели эту тюрю, время от времени почему-то ударяясь лбами. Казалось бы, что тут такого? «Древнерусскую литературу – в жизнь!» Но бдительные стражи сразу просекли враждебность этой акции. Хотя, казалось бы, в чем враждебность? Так – кураж, легкое издевательство... даже сразу не скажешь над чем. Но у нас все чувствуют даже то, что трудно или даже невозможно сформулировать... «В общем, это не наше!» – «Русские рубахи – не наше?» – «Молчать!.. Это типичная троцкистско-зиновьевская провокация!» – именно с такой алогичной, но вполне привычной формулировкой они были исключены из университета – что, впрочем, не помешало им потом стать хорошими поэтами. Веселье то и дело оказывалось опасным, и тем не менее вольный дух не иссякал.

В другой раз, по воспоминаниям того же Уфлянда, трое его друзей шли по Дворцовой площади с демонстрацией 7 ноября, и, когда «массовик-затейник» с трибуны выкрикивал очередную здравицу, а народ подхватывал, ребята кричали свое: «Да здравствует кровавая клика Тито – Ранковича! Ура!» Как раз тогда шла во всех газетах травля югославского маршала Тито, бывшего нашего друга, и его сторонников, в том числе министра внутренних дел Ранковича. Сначала крики ребят не очень различали – «акустически» они сливались с другими здравницами, – но потом все же расслышали те, кто получал за это деньги, и при повороте демонстрации на Невский ребят схватили... а потом посадили на несколько лет.

Помню бурное обсуждение в большой университетской аудитории знаменитой тогда повести Дудинцева «Белые одежды», переросшее, как потом писали в доносах, «в политическую провокацию». Тогда никого не посадили и даже, кажется, не исключили – видимо, трудно было кого-то выбрать: весь университет бурлил из-за невинного по нынешним временам произведения!

Помню и свой приход – в поисках подходящей литературной компании, – на занятие университетского литобъединения. Маленький взъерошенный поэт закончил свое стихотворение строчкой – «Соленым огурцом – хрущу!» – и делал при этом метательное движение! «Так это же – соленым огурцом – хрущу! Хрущеву!» – с некоторым запозданием я понял, почему так ликует зал.

В общем, ясно, что не зря Довлатов здесь оказался – здешний дух был близок ему, укрепил его уверенность в себе, в своих силах и талантах. В этом, а вовсе не в учебе, было главное для него. Впрочем, нет никаких сведений о том, что Довлатов принимал какое-то участие в той бурной общественной жизни. Видимо, он и его ближайшие друзья были слишком снобами, чтобы примыкать к толпе в любой ее форме.

Главное – он нашел в университете друзей на всю жизнь, друзей, полностью разделяющих его вольные взгляды и притом достаточно сильных и успешных, на которых можно было опереться в жизни. И друзья не подвели. То была весьма недурная компания, почти «лицейское братство», отличавшееся образованностью, талантами, жизненной энергией и умением славно погулять – спрашивается, о чем еще в молодости можно мечтать, какое еще большее везение может быть? И эти друзья юности оставались с ним всегда, помогли состояться, а потом и прославиться.

Вспоминает Андрей Арьев:

«С Сережей было трудно не познакомиться, потому что он всегда выделялся. Мы вместе учились на филологическом отделении: он на финском отделении, я на русском. На первых курсах у нас было много общих лекций – как правило, самых занудных и никому не нужных, вроде политэкономии или истории КПСС. Как правило, мы на них не ходили, но из нашей тридцатой аудитории открывался прекрасный вид на Университетскую набережную и Неву, можно было наслаждаться им и ничего не слушать. Меня кто-то спросил, что такое для меня университет. Я ответил: «Конечно, это окно в Неву». Во время такой лекции Сережа мне как-то сунул три рассказика. В какой-то из них я ткнул пальцем и сказал: «А вот этот мне не понравился меньше». С моей стороны это была высшая степень похвалы. Тогда мне просто не могло понравиться то, что написал мой приятель».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.